

Иосиф Александрович
БРОДСКИЙ
1940 – 1996

Иосиф
БРОДСКИЙ

Урания



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Осенний крик ястреба

* * *

Как давно я топчу, видно по каблуку.
Паутинку тоже пальцем не снять с чела.
То и приятно в громком кукареку,
что звучит как вчера.
Но и черной мысли толком не закрепить,
как на лоб упавшую косо прядь.
И уже ничего не снится, чтоб меньше быть,
реже сбываться, не засорять
времени. Нищий квартал в окне
глаз мозолит, чтоб, в свой черед,
в лицо запомнить жильца, а не
как тот считает, наоборот.
И по комнате точно шаман кружа,
я наматываю как клубок
на себя пустоту ее, чтоб душа
знала что-то, что знает Бог.

1980/1987

РАЗВИВАЯ ПЛАТОНА

I

Я хотел бы жить, Фортунатус, в городе, где река
высовывалась бы из-под моста, как из рукава — рука,
и чтоб она впадала в залив, растопырив пальцы,
как Шопен, никому не показывавший кулака.

Чтобы там была Опера и чтоб в ней ветеран-
тенор исправно пел арию Марио по вечерам;
чтоб Тиран ему аплодировал в ложе, а я в партере
бормотал бы, сжав зубы от ненависти: «баран».

В этом городе был бы яхт-клуб и футбольный клуб.
По отсутствию дыма из кирпичных фабричных труб
я узнавал бы о наступлении воскресенья
и долго бы трясся в автобусе, мучая в жмене руб.

Я вплетал бы свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.

Изо всех законов, изданных Хаммурапи,
самые главные — пенальти и угловой.

II

Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома с таким же количеством запятых,
как количество скверных слов в ежедневной речи,
не прорвавшихся в прозу. Ни, тем более, в стих.

Там стоял бы большой Вокзал, пострадавший в войне,
с фасадом куда занятней, чем мир вовне.

Там при виде зеленой пальмы в витрине авиалиний
просыпалась бы обезьяна, дремлющая во мне.

И когда зима, Фортунатус, облакает квартал в рядно,
я б скучал в Галерее, где каждое полотно
— особенно Энгра или Давида —
как родимое выглядело бы пятно.

В сумерках я следил бы в окне стада
мычащих автомобилей, снующих туда-сюда
мимо стройных нагих колонн с дорической
прической,
безмятежно белеющих на фронтоне Суда.

III

Там была бы эта кофейня с недурным бланманже,
где, сказав, что зачем нам двадцатый век, если есть уже
девятнадцатый век, я бы видел, как взор коллеги
надолго сосредоточивается на вилке или ноже.

Там должна быть та улица с деревьями в два ряда,
подъезд с торсом нимфы в нише и прочая ерунда;
и портрет висел бы в гостиной, давая вам
представленья
о том, как хозяйка выглядела, будучи молода.

Я внимал бы ровному голосу, повествующему о вещах,
не имеющих отношенья к ужину при свечах,
и огонь в камельке, Фортунатус, бросал бы
багровый отблеск
на зеленое платье. Но под конец зачах.

Время, текущее в отличие от воды
горизонтально от вторника до среды,
в темноте там разглаживало бы морщины
и стирало бы собственные следы.

IV

И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремена
истории свою ногу, но и ихних четвероногих,
учитывая отпечаток, оставленный ими на

населении города. И с присохшей к губе
сигаретою сильно за́полночь возвращаясь пешком
к себе,
как цыган по ладони, по трещинам на асфальте
я гадал бы, икая, вслух о его судьбе.

И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными:

«Не наш!» —

я бы втайне был счастлив, шепча про себя: «Смотри,
это твой шанс узнать, как выглядит изнутри
то, на что ты так долго глядел снаружи;
запоминай же подробности, восклицая
„Vive la Patrie!“».

1976

ПОСВЯЩАЕТСЯ СТУЛУ

I

Март на исходе. Радостная весть:
день удлинился. Кажется, на треть.
Глаз чувствует, что требуется вещь,
которую пристрастно рассмотреть.
Возьмем за спинку некоторый стул.
Приметы его вкратце таковы:
зажат между невидимых, но скул
пространства (что есть форма татарвы),
он что-то вроде метра в высоту
на сорок сантиметров в ширину
и сделан, как и дерево в саду,
из общей (как считалось в старину)
коричневой материи. Что сухо
сочтется камуфляжем в Царстве Духа.

II

Вещь, помещенной будучи, как в Аш-
два-О, в пространство, презирая риск,
пространство жаждет вытеснить; но ваш
глаз на полу не замечает брызг
пространства. Стул, что твой наполеон,
красуется сегодня, где вчерась.
Что было бы здесь, если бы не он?
Лишь воздух. В этом воздухе б вилась

пыль. Взгляд бы не задерживался на пылинке, но, блуждая по стене, он достигал бы вскорости окна; достигнув, устремлялся бы вовне, где нет вещей, где есть пространство, но к вам вытесненным выглядит оно.

III

На мягкий в профиль смахивая знак и «восемь», но квадратное, в анфас, стоит он в центре комнаты, столь наг, что многое притягивает глаз. Но это — только воздух. Между ног (коричневых, что важно — четырех) лишь воздух. То есть дай ему пинок, скинь все с себя — как об стену горох. Лишь воздух. Вас охватывает жуть. Вам остается, в сущности, одно: вскочив, его рывком перевернуть. Но максимум, что обнажится — дно. Фанера. Гвозди. Пыльные штыри. Товар из вашей собственной ноздри.

IV

Четверг. Сегодня стул был не у дел. Он не переместился. Ни на шаг. Никто на нем сегодня не сидел, не двигал, не набрасывал пиджак. Пространство, точно изморозь — пчелу, вещь, пользоваться коей перестал владелец, превращает ввечеру (пусть временно) в коричневый кристалл.

Стул напрягает весь свой силуэт.
Тепло; часы показывают шесть.
Все выглядит, как будто его нет,
тогда как он в действительности есть!
Но мало ли чем жертвуют, вчера
от завтра отличая, вечера.

V

Материя возникла из борьбы,
как явствуют преданья старины.
Мир создан был для мебели, дабы
создатель мог взглянуть со стороны
на что-нибудь, признать его чужим,
оставить без внимания вопрос
о подлинности. Названный режим
материи не обещает роз,
но гвозди. Впрочем, если бы не гвоздь,
все сразу же распалось бы, как есть,
на рейки, перекладины. Ваш гость
не мог бы, при желании, присесть.
Составленная из частей, везде
вещь держится в итоге на гвозде.

VI

Стул состоит из чувства пустоты
плюс крашеной материи; к чему
прибавим, что пропорции просты
как тыщи отношенье к одному.
Что знаем мы о стуле, окромя
того, что было сказано в пылу
полемики? — что всеми четыремя
стоит он, точно стол ваш, на полу?

Но стол есть плоскость, режущая грудь.
А стул ваш вертикальностью берет.
Стул может встать, чтоб лампочку ввернуть,
на стол. Но никогда наоборот.
И, вниз пыльцой, переплетенный стебель
вмиг озарит всю остальную мебель.

VII

Воскресный полдень. Комната гола.
В ней только стул. Ваш стул переживет
вас, ваши безупречные тела,
их плотно облежавший шевиот.
Он не падет от взмаха топора,
и пламенем ваш стул не удивишь.
Из бурных волн под возгласы «ура»
он выпрыгнет проворнее, чем фиш.
Он превзойдет употребленьем гимн,
язык, вид мироздания, матрас.
Расшатав, он заменится другим,
и разницы не обнаружит глаз.
Затем что — голос вещь, а не зловец —
материя конечна. Но не вещь.

Весна 1987

ШОРОХ АКАЦИИ

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам — тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и волапюк,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: все чаще на светофорах — «Стой».
Приобретая газету, ее начинаешь с той
колонки, где «что в театрах» рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А. П. Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят «не дам»,
если попросишь денег. Там поет «ла-ди-да»,
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое «ду-ю-спик».

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овала над раковиной, в которой бурлит моча,
на тебя тарашится, сжав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить «ча-ча-ча».

1974–1975